

ЛЕОНИД ГЕЛЛЕР

Лозаннский университет
(Лозанна, Швейцария)

ORCID 0000-0002-6996-7266

e-mail: leonid.heller@unil.ch

**ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ НАШИХ ДНЕЙ
И ТЕОРИЯ СМЕРТИ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ**

**CONTEMPORARY LITERARY STUDIES
AND THE DEATH OF LITERARY THEORY**

Abstract:

The paper exposes some thoughts about the current state of Literary Studies. It would seem that the tendency today is to abandon any claim of objectivism and universalism, to develop particular autonomous discourses on different subjects and to favor criticism over theory. A propensity for editing prescriptions on how the literary subjects should be treated reminds of the socialist realist critical methods (e.g. the ecocriticism would assess a literary text basing on its value as an answer to the actual ecological crisis). The idea of the death of the literary theory is also discussed and rejected.

Keywords: Literary Studies, Literary Theory, postmodernism, practical discourses, socialist realism

В сегодняшней обстановке, когда устаревают постмодернизм, и, как кажется, окончательно уходят в прошлое защитники универсальной науки о литературе, исследователю стоит задуматься о своих академических корнях.

Во Франции русистика занимает неоднозначную позицию. Как известно, «французская теория» решающим образом стимулировала глобализацию постмодернизма и отказ от традиционных методов в гуманитарных науках. И вместе с тем, во Франции сложилась мало чувствительная к новшествам школа русистики. Она и структурализм приняла с задержкой, и победу постмодернизма. Объясняют этот факт две причины. Первая: влияние старых мэтров (таких, как Андре Мазон и Пьер Паскаль) на профессоров, формировавших с конца 1950-х годов эту школу. Вторая: существование последней зависит *volens nolens* от России, советской, эмигрантской, постсоветской. Отсюда если не противостояние, то сильное недоверие к концепциям, окрашенным левой идеологией. Тем временем новая Россия идет за Западом, а борьба против советского наследия перетекает в живейший интерес к учениям Джеймисона, Бурдьё, Жижека, Бадью: тайных и явных марксистов и даже коммунистов. Не подражая американскому кампусу, многие его новации младшее поколение франкоязычных русистов начинает принимать сочувственно (часто, кстати, по причине контактов с работающими в США русскими учеными).

Автор этих строк принадлежит к уходящему поколению франко-швейцарской русистики, что, разумеется, обуславливает его взгляд на состояние современной науки о литературе. Которая, подчеркну, как будто вопреки вышесказанному, продолжает курировать исследования академического типа; они сравнительно мало рекламируются и не обязательно рожают новые концепции, зато поставляют материал для исследований и анализа, толкования, гипотезы, традиционность которых не всегда лишает их ценности. Но к ним не относится прямо вопрос о том, что происходит сегодня с литературоведением.

Не будем слишком пристально вглядываться в объект, обозначенный этим термином. Опуская жизненно важные для него сложности, условимся, что он (как минимум) трехчастен, включая в себя историю, теорию, критику, и что такое деление реально не только для русистики. Приняв такую точку зрения, можно в самых общих чертах описать происходящий процесс как отказ литературоведения от пре-

тензий на научную объективность и, соответственно, как неудержимый рост внутри него веса критики. Причем критика становится в один ряд с теорией, если не на ее место. Характерна популярность обновленной философской (неомарксистской) *критической теории*. Она дополняет деконструктивизм, составляя концептуальную базу для многочисленных направлений, которые заявляют себя автономными дискурсами в рамках дискурсивного множества гуманитарных наук.

Возьмем дискурс, типичный для сегодняшнего литературоведения – хотя, как и большинство таких дискурсов, рожденный в последней четверти XX века, – «экологическую критику», экокритику. Один из ее основателей, Лоренс Бьюэлл, выработал следующие критерии восприятия текста в рамках экокритического дискурса: «1. Вне-человеческая среда должна работать в нем не только в виде обрамления, но так, чтобы ее присутствие вело ко внедрению истории человечества в естественную историю. 2. Интересы человека не должны пониматься как единственно легитимные. 3. Ответственность человека за среду входит в этический посыл текста. 4. Пусть неявно, но текст должен утверждать ощущение среды как процесса, а не константы или внешней данности»¹. Если перечисленные требования не выполнены, экокритике следует выявить те положения, на которых покоится скрытый анти-экологизм текста. Ричард Керридж резюмирует: «Экокритика стремится прежде всего к оценке связности и полезности текстов и идей в их качестве ответов на кризис окружающей среды»².

Другие дискурсы – гендерные, феминистские, постколониальные – по сути также являются формами общественно-политической критики, они заняты, как говорил Ленин о Толстом, «срыванием всех и всяческих масок».

Недавно я слушал, как французская феминистка говорила о своей последней книге. Деконструкция текстов, которую она в ней провела, нужна была ей для выявления, какие неосознанные или подавленные механизмы женоненавистничества кроют невинные с виду образы, ситуации, высказывания. Таким образом, мы узнаем нечто об указанных механизмах, но еще важнее другое: после прочтения книги писатели будут знать, что обращаясь к этим же или подобным образам, ситуациям, высказываниям, они встают на защиту зла, под-

¹ Цит. по: Hans Bertens: *Literary Theory*. New York: Routledge 2008, p. 203-204.

² Ibidem.

нимают флаг политического антифеминизма. Тут полная аналогия с экокритикой, которая оценивает пользу текста для борьбы за обновление общественных практик, тем самым предполагая его потенциальный анти-экологизм.

Такая (сегодня говорят: «этическая») литературоведческая установка на раскрытие подозреваемых преступлений против текущей доксы мало чем отличается от метода критики в соцреализме. Так же разоблачается скрытое в произведении вредное мировоззрение, – с тем, чтобы заклеив писателя, привести его к покаянию, самокритике и перековке. Если так понимать новые теории (дискурсы), то они окажутся не столько новым этапом в развитии литературоведения, сколько, наоборот, погружением в не совсем еще возрожденный, но возрождаемый политико-социологический тематизм.

Эволюция дискурсов, о которых идет речь, направлена туда же, – так, по меньшей мере, мне кажется на основе прочитанной выборки деклараций и работ. К примеру, встреча феминистского и гендерного направления произвела «квир-теорию» и «квир-исследования», охотно использующие для своих анализов литературу. Цель все та же: приветствуя Иного и инаковость, разоблачать все, что мешает их появлению. И тут же в среде феминизма разгорелась дискуссия о порнографии: осуждать ли ее как одну из форм порабощения женщины или защищать как выражение свободы от буржуазных стереотипов и просто половой свободы? Спор дает начало новому направлению, которое развернулось в 2000 годы, между прочим вокруг журнала *Porn Studies*. Порнографические исследования получают академический ранг, совмещая литературный и визуальный материалы и привлекая на фукольдианской основе юридический, социологический, политический подходы. Французское *Введение в порнографические исследования* заканчивается такой декларацией: «Порнография – не собственность тех, кто ее финансирует, и не охотничьи уголья для нескольких интеллектуалов: она включается или должна включиться в ряд коллективных, осознанных, основанных на верной информации интересов всех граждан»³. Половина книги занята отделением нужной, «правильной» порнографии от вредной, полной старых предрассудков.

Сказанное не означает, что в новых теориях-дискурсах ничего важного, по нашему мнению, нет: они заставляют сместить угол зре-

³ François-Ronan Dubois: *Introduction aux porn studies*. Bruxelles: Les Nouvelles impressions, 2014 (электр. изд. без пагинации).

ния на литературный материал, на его границы, охватить новые массивы, другие контексты, более углубленно заняться и транс-, и интермедийностью, сменить кое-что из привычного инструментария.

Если мы, однако, заняты поисками новой теории литературы, то на мой взгляд ее мало в новых дискурсах. Точнее, элементы теории привносятся извне, из философии Деррида, из социологии Бурдьё, из антропологии Гирца, и т.д. Как таковая, процедура вполне резонна и оправдана. Проблема только в том, что заимствованные послышки служат построению не столько цельной новой концепции литературы или литературности, сколько методики все того же критического анализа; если он и работает внутри литературной сферы, по темам более или менее соответствующей выбранной теории, то целит он за пределы литературы, в сферу общественную. Откуда и производится объединение дискурсивной мозаики, не всегда, но часто «в интересах всех граждан», иначе говоря, производится нормативный контроль литературы. И в этом смысле постмодернизм снова напоминает пропитанную политикой, социологией, идеологией советскую науку о литературе. Как марксисты, так по-видимому и постмодернисты думают, что литературный текст интересен не сам по себе, а для того, чтобы его использовать — либо в интересах большого социального проекта, либо, по меньшей мере, для нужных «всем гражданам» прений об идеях, о жизни общества, о положении социальных низов, о сексуальной идентичности, о загрязнении планеты, о расовом неравенстве, о травматической памяти, о людях с «ограниченными возможностями здоровья», и так далее и тому подобное.

Есть в сегодняшнем литературоведении направление, как будто относительно свободное от социально-политической нагрузки: *когнитивная теория*. Некоторые филологи связывает с ней большие надежды, – вряд ли они оправданы. Ясно, что когнитивным наукам, скажем, физиологии мозга, интересно проследить, какая электрохимия запечатлевает эмоциональные и интеллектуальные состояния читателя. Труднее уловить, чем результаты таких исследований могут заинтересовать теорию литературы. Определив когнитивную поэтику как «прагматический аспект теории рецепции», автор обобщающей статьи называет ее задачей «помещение чтения в контекст»⁴, имея

⁴ Arnaud Schmitt: *De la poétique cognitive et de ses (possibles) usages*, „Poétique” 2012, n°2, p. 149.

в виду как физиологическое, так и социальное восприятие литературы. Но ведь интерес к читателю и его контексту проявляли и формалисты, и их марксистские современники; сто лет назад Петр Коган заявлял: «Понять художественное произведение – это значит понять его читателей. История литературы есть история прочитанного, но не история написанного»⁵. Спору нет, в арсенале когнитивных наук находятся орудия, которых раньше не было. Их использование, однако, несколько смущает прямолинейностью. В изречении Чехова о ружье, висящем на стене в первом акте, которое должно выстрелить в последнем, специалист по когнитивной поэтике усматривает описание «прайминга», фиксирования установки, – психосемантического механизма, благодаря которому слово лучше воспринимается, если до него прозвучало слово, близкое по смыслу (доктор/санитар). И далее когнитивист говорит, что прайминг используется модернистскими писателями, которые любят обманывать ожидание читателя⁶. Мысль Чехова о функциональности каждой детали в произведении никак, по-моему, не сводится к эффекту прайминга, и неясно, чем слово «прайминг» обогащает словарь литературных терминов, давно знакомый со словом «пролепсис». Подобные наблюдения и терминологические новации могут занять умы новых поколений студентов (и это уже хорошо), но вряд ли что-то существенное добавляют к той теории литературы, которая сложилась в XX веке.

Таково вполне оспариваемое мнение филолога старой формации: в триаде «история-теория-критика», составляющей литературоведение, явно преобладает критика, история бытует (не закончив в русистике свои счета с прошлым), а теория мечется в поисках новых стимулов. Тогда как поле литературных исследований исхожено далеко не все, и гипотеза о «смерти литературной теории» убеждает не больше других апокалиптических вещаний. Иногда говорят, что сегодня литература уже не та литература, о которой говорил XX век, а новое дискурсивное явление, поэтому нужна не теория литературы, а многие теории многих дискурсов. Стоит напомнить, что весь XX век шла речь то о смерти романа, то о смерти поэзии; к теории дискурсов взывал уже Тодоров. Тем временем, литература очень живуча. Прекрасно живет роман, преображаясь, но так, чтобы не растерять своей «романности»,

⁵ П.С.Коган: *Пролог. Мысли о литературе и жизни*. Москва-Петроград 1923, с.10.

⁶ Arnaud Schmitt: *Op. cit.*, p. 154-155.

уже рождается новая поэзия будущего и даже «поэтика постгуманного становления»⁷. А пока литература существует, составляет потенциальный объект исследований, не умирает и литературоведение. Допустим, что критика, прагматическая часть науки, перевешивает в нем теоретическую, и новые концептуальные открытия редки в наши дни. Что из того? Так случалось и в точных науках. Теория Ньютона держалась на первом месте в физике двести лет, в определенных масштабах она и сегодня сосуществует с новой физикой.

Теории формалистов чуть больше ста лет. В литературоведении ее роль, наверное, схожа с ролью теории относительности: в эту рамку вписываются более частные концепции, уточняя ее, применяя к новым условиям. Ни структурализм, ни семиотика, ни новые критические дискурсы не упраздняют того, что о литературе сказали формалисты, а наоборот, подчеркивают их актуальность. Порой смерть литературной теории мыслится как прямое следствие успеха формализма: он исчерпал вопрос о литературности и литературе, оставалось заняться деконструкцией. Незадолго до конца XIX века в лице знаменитого физиолога Дюбуа-Реймона наука пришла к полугрустному заключению, что она открыла все в мире, а того, чего не открыла, человеку знать не дано: *ignoramus et ignorabimus*. Меньше, чем четверть века спустя пришли и Кюри-Склодовская, и Планк, и Эйнштейн, и Бор, и открылись новые миры и новые науки.

Не знаю, насколько правомерны такие аналогии. Это иллюстрация того, что развитие науки, в том числе и науки о литературе, требует много времени и может подчиняться, подобно эволюции живого мира, правилу «прерывистого равновесия», когда долго не наблюдается никаких важных изменений, и внезапно происходит скачок. Такой скачок произошел в начале XX века и его импульс ощущается до сих пор. Не хочу быть голословным и перечислю несколько элементов формалистской теории, которые наиболее важны для моей работы.

Художественная форма выделена из быта и осложнена. Она не копирует реальность, а ее преобразует, что относится и к реалистической манере изображения. В своей выделенности форма осуществляет сдвиг, смещение, остранение мира, может быть то, что критическая теория сегодня называет детерриториализацией. Построение формы

⁷ См., например: Serge Venturini: *Eclats d'une poétique du devenir transhumain*. Paris: L'Harmattan 2009.

определяется динамикой; простейший пример: смена элементов по принципу контраста. Форма осложняется через обнажение приема; в этом тезисе заключена вся теория авторефлексивности литературы.

«Литература есть речевая конструкция, ощущаемая именно как конструкция, то есть литература есть *динамическая речевая конструкция*», – писал Тынянов в *Литературном факте* (1924). В определении выделены построенность и динамичность формы; но интересно, что между первой и второй частью формулы как бы теряется «ощущаемость» конструкции, то есть и ее авторефлексивность, самоощущение, и наличие того, кто ощущает, – читателя. Признаки исчезают и присутствуют одновременно, сами становятся ощутимыми: кажущаяся неточность стиля указывает на важный момент определения. Пластичность, открытость – одна из самых ценных черт формалистских высказываний.

Продолжаю перечень. Не открытие, конечно, идей, которые лежат в основе традиционной поэтики, – повторяемости и комбинаторики блоков, составляющих конструкцию, – но их модернизация, динамизация. Эту комбинаторику перенимает когнитивный анализ, который должен заинтересоваться и семантическим учением о «тесноте стихового ряда». Учение о серьезной пародии, которая производит деконструкцию исходного текста и на его основе позволяет строить новые. Понятия «литературного факта», «литературного быта», «словесного жеста», в которых кроются побеги многих позднейших теорий, вплоть до теории восприятия и чуть ли не лакановской мысли о телесности слова, о тексте как о поверхности тела произведения. Экономика и социология издательского дела. Концепция исторического развития как борьбы старших и младших, сильных и слабых (тут недалеко до идеи Блюма о «страхе влияния»). Историческая контекстуализация как герменевтика (например, пушкинского стиха, державинской оды и т.д.), но и как анализ читательского восприятия. Теория поэтического языка. Теория сказа.

На этом остановлюсь. Добавим к этому неполному перечню несколько «постформалистских» концептов – полифонию по Бахтину, минус-прием и хаос в тексте по Лотману, – и можно говорить о теории литературы, соки которой продолжают питать живое дерево литературоведения.

REFERENCES:

Bertens Hans: *Literary Theory*. New York: Routledge 2008.

Dubois François-Ronan: *Introduction aux porn studies*. Bruxelles: Les Nouvelles impressions, 2014.

Kogan P.S.: Prolog. *Mysli o literature i zhizni*. Moskva-Petrograd 1923
(Коган П.С.: Пролог. Мысли о литературе и жизни. Москва-Петроград 1923).

Schmitt Arnaud: *De la poétique cognitive et de ses (possibles) usages*, „Poétique” 2012, n°2.

Venturini Serge : *Eclats d'une poétique du devenir transhumain*. Paris: L'Harmattan 2009.